



*Ольга Шиленко – поэт, прозаик, критик, литературовед. Автор 12 поэтических сборников, книг прозы «Возвращающий юность», «Бремя Третьего Рима», «Андрогины доктора Моора», эссе по тематике культуры и искусства и других сочинений. Живёт в г. Алматы.*

**Ольга ШИЛЕНКО**

## **ЧТО ПРИСНИЛОСЬ ИССЫК-КУЛЮ**

*Роман в рассказах*

### **ВОЗРАСТ БУРЬ**

#### **Три Серёжки**

В нежном возрасте бывала такая гипервлюбчивость, что казалось, ангел-босоножка по макушке бегаёт. Аж в башке звенит. Колчан безразмерный, стрел много. Мудрено ли влюбиться только за то, что в тебя бросали огрызком яблока?

Звали его Серёга Панфилов. Обыкновенный веснушчатый деревенский парнишка. А я приехала на Иссык-Куль к бабушке на каникулы, городская, на лице ни пятнышка, ни румянца, юбка короткая. И он бросил в меня огрызок яблока, засмотрелся. Польщённая вниманием, я спросила, чего это он выёживается?

– Давай греби копытами в пыли, – глупо улыбаясь, ответил он.

– Иди ты ёжиков пасти! – обменялась я любезностями.

Я любила его безумно аж три дня, и всё сделала, чтобы мать отдала меня бабушке, а бабушка определила в восьмой класс школы в родном селе. Это была казачья станица, в которой уже сто лет жили вольные переселенцы, став давно друг другу родней, и почти все были однофамильцами или сплошь тёзками. Только одна моя фамилия являлась единственной в своём роде, да и имя было редким, как и моя внешность.

Оказалось, что новенькой быть очень приятно. Мне стали благоволить почти все пацаны в классе. И вдруг увидела, что Васька Пухов добрей и ласковей Серёги Панфилова! Вместо глаз с лица Васьки смотрели наивные пучочки ярких незабудок, соперничающие с цветами в бабкином саду. Аля Полетаева, сидевшая со мной за одной партой, на всякий случай вывела на своей худой белой ручонке синюющими чернилами крупное: «Вася».

Пухова я любила без памяти один день. А наутро увидела, что Сергей Полетаев самый красивый мальчик в школе. У него был невозможно-прон-

зительный прищур, хризопразовые, цвета неплакучей ивы глаза и густые белокурые волосы. При этом он имел широкие чёрные брови вразлёт и вдохновенно вылепленные черты. Он не сводил с меня глаз. А я с него. «О + С = любовь до гроба, дураки оба!» – написали на доске одноклассники.

Глаза у меня разбежались: нежный увалень, златопепельный Пухов безумно нравился мне, и Серый тоже нравился так, что стоял всё время неотступно перед глазами. Помогаю ли бабке копать картошку, кормлю ли гусей, подметаю ли двор, а они стоят у меня перед глазами, то Серый, то Пухов.

К тому времени, устав от мглы противоречий и любовных записок с двух сторон, я страшно соскучилась по маме, забрала документы из школы и уехала домой. Там я любила дико ещё одного мальчика. Серёгу Гордиенко. Он приходил и стоял у запертых крепко высоких ворот. Смотрел в деревянную дырочку-сердечко пронзительно-синим глазом.

– Оля! К тебе парень с крашеными волосами пришёл! – хихикая и потешаясь, кричал мне младший братишка Игорёк.

\* \* \*

О чём там шептались своими малюсенькими листиками бабушки-акаций и большие карагачи-бородачи? О чём роптали корявое тутовое древо-великан и все кистепёрые звёзды и солнцеликие луны?

«Пара вы! – говорили нам в лицо, беззубо улыбаясь, соседки. – Два тополя на Плющихе!»

Серёжка учился в лётном училище и красил свои светло-золотые в маковый цвет. Это было круто: ярко-синие глаза и огненные волосы. Его фото висело у меня в спальне.

Мы сидели с ним подолгу у нас на лавочке перед домом, а когда смеркалось, Серёга упрямо, как баран, молил меня поцеловать его сто раз. За это он обещал отпустить меня домой. Не чувствуя особого смака, стесняясь, я чмокала его сто раз, а он снова, как баран, обманув, настаивал ещё на ста поцелуях, потом ещё на ста... У него и прозвище-то было Баран.

Я вырывалась.

– Ну ещё один раз, принцесса! – шептал он, тупой, как валенок.

Я убежала домой, босая, смущённая, с ужасом видя, что ноги у меня чумазые и пыльные до того, что не то что на принцессу, но даже на свинопаску я не тяну. Особенно был грязен большой палец на левой ноге. Мама родная! Вот почему этот нежный баран, балуясь, нагнул и слегка укусил его!

Я мыла ноги, ложилась на веранде, смотрела, как роятся, ткнут белёсый флёр тумана паучки-пульсары, и мечтала о парчовых босоножках.

Однажды я украдала такие босоножки у матери. И, воздушная, как фея, чистая, как Венера, только что рождённая из пены морской, в прозрачном батистовом платье вышла на зелёную лавочку к Серёжке Гордиенко.

– Слушай, ёлы-палы! Что ты со мной делаешь? – охнул он.

\* \* \*

В сумерках он украдкой повёл меня к себе в усадьбу, в сад, где загодя на траве под вишнями, в лопухах и купырях, среди болиголова лежало жаккардовое одеяло и вышитые мальвами подушки. Он усадил меня на это облитое парной от сырости луной ложе и попросил поцеловать его сто раз.

Нестерпимо пахло болиголовом. Причудливые лунные пересветы, пятна и тени от стволов и листьев упали на него так, что мне показалось, просто примерещилось на миг, что Серёжка – чудовище из сказки. И что, по маню-

вению злых чар, он сидит без одежды, как заколдованный принц, поросший клочками шерсти с зияющими проплешинами. При этом он дрожал, как на Северном полюсе. Почудилось? Почудилось. Конечно, почудилось. Голова странно кружилась.

«Греби копытами в пыли», – сказала я себе, и, ещё вчера готовая признаться ему в любви, возненавидев навек, бежала прочь. Стояла духота. Стрекотали кузнечики. Рассвистывал жизнь соловей.

Такой и осталась в памяти эта юная ночь. Так и чудится порой запах болиголова, белых пионов и слепящие пятна луны, взявшие мою душу в залог за что-то более прекрасное на земле.

### Бетехтин

Где-то в небесной канцелярии, несмотря на зависть бесов и кару богов за раннее сердцедействие, вопреки зиме, повелели мне влюбиться без памяти в престарелого юношу, девятнадцатилетнего художника Ваську Бетехтина.

Он был очкариком, писал прелестные акварели, сочинял стихи и миниатюры. В ту пору это нравилось многим девчонкам. Очкарик, художник и стихи. О! И знает наизусть Евтушенко. «Ахматова двухвременной была...»

Мне было с ним интересно. Бетехтин не любил уличный сленг. Рисовал меня в венках из одуванчиков и белой кашки, готовил меня в художественное училище.

Это были времена абсолютного непроницаемого счастья, Золотой век воодушевления и пленительной грёзы Человечества о мире справедливости и братства. Ничего не случалось. Не взрывалось, не угрожало хрупкому цветку бытия, никто не вешался, не травился, не сбрасывался с девятого этажа, не враждовал домами, не взрывал поезда. Девушки не делали аборт. В цене была девичья честь и чистота. Не было наркоты, бульварных газет и проституток, предлагающих всё! Люди не умели врать друг другу и держать нос по ветру. Я не помню, чтобы у меня были враги или проблемы. Единственная неприятность за годы молочного возраста это то, что Бетехтин мне, пятнадцатилетнему, в сущности, ребёнку, сказал, что хотел бы назвать меня своей женой. Разумеется, в будущем. Вот и всё. Я вспомнила Гордиенко, его облитые лунной подушки, страх и отвращение, и наши отношения с Бетехтиным зашли в тупик.

Бетехтин примчался за мной следом в Пржевальск, чтобы быть рядом, возможно, даже желая опекать меня и остаться жить в городе, где я собиралась учиться. Приехал почему-то наголо остриженный.

Со стороны, как бы чужими глазами, увижу его узкие интеллигентские плечи, роговые очки, присутствие одного кривоватого зуба. Боже! А что за лихорадочный румянец на покрытом первым персиковым пухом лице! Мешковатая одежда. Мох прошлого.

Я боялась себе признаться, что причиной отторжения были не только его неосторожный язык, очкастое, слишком капризное лицо, но и, наверное, то, что я любила уже другого мальчика, абитуриента, моего будущего сокурсника Юру Другалёва. Да... ещё... Леву любила. Очень сильно. Бархатные, как бабочки, карие глаза. Он играл на гитаре. Талантливое сердце махатмы.

Вообще, в те времена не было плохих людей. Все до одного были достойны любви. В те минуты мне было невыносимо стыдно за готового предьявить на меня свои права бритого, очкастого художника Бетехтина. Каким же бывалым и корыстным до помрачнения, до температуры во всём теле, он мне казался. Я забыла, что это именно он, Бетехтин, подготовил меня к

экзаменам на худграф. Как ставил мне руку, натюрморты. Все эти кувшины с васильками, ноздрястые горбушки чёрного хлеба, персики, виноград и просто стакан с чистой водой. Только теперь понимаю, как могут быть жестоки пятнадцатилетние дети.

– Девочки, не оставляйте меня! – взмолилась я, когда Бетехтин попросил позволить нам побыть вместе. И девчонки сомкнули круг, упрутся. Бетехтин постоит ещё минуту, набьётся. Потом, резко развернувшись и гордо подняв голову, порывисто зашагает прочь.

Ах, Васька! Теперь из своего сиреневого далека ты напоминаешь мне Ивана-царевича из сказки. Ведь твоя царевна была тогда ещё просто лягушкой. Зачем ты приехал и нашёл меня так рано?

Потом Бетехтин напишет мне элегическое письмо. Я помню один его фрагмент до сих пор.

«Отвергнутый и нелепый, с разбитым сердцем, но не потерявший надежды, пошёл я пешком по Иссык-Кульской котловине до твоего родного села Ой-Тал, чтобы бродить по тропинкам, истоптанным когда-то твоими детскими босыми ножками. Я пришёл в Ой-Тал на закате и сразу побрёл к озеру, чтобы обнять берег и плакать в дюны, по которым ты ходила.

Мне стало легче. Я ночевал в стогу сена. Казалось, это не море, а ты, любимая, дышишь рядом со мною, и я чувю запах твоих волос, и шелест и шум их, вижу твои зелёные, как речные заводи, глаза, а на дне их золотые рыбки и серые камушки, разбившие мне сердце. Ты не представляешь, до чего я сошёл с ума! Я даже хотел поступить в училище ещё раз, чтобы только быть рядом с тобой!..»

Дальше шло длинное стихотворение... Стихотворение было лишено аромата и красок и напрочь испортило очарование от письма. Я читала стихотворение и думала о том, какой же Бетехтин всё-таки зануда. Однако ответила ему и даже выслала своё парадное фото, которое ему не понравилось. Он просил выслать любительское, где-нибудь в ромашках или в берёзах-ёлочках.

Но, увы, в ромашках-ёлочках я снова встретилась с Сергеем Полетаевым, потом получила письма от другого, заморачивалась с третьим и знала одно: единственное, что было правильно, так это то, что я никогда никому ничего не обещала! Знала, что ждёт меня на свете что-то более прекрасное, отчего я сойду с ума, как Васька Бетехтин! И я была ему несказанно благодарна. Это он мне открыл глаза и научил видеть, какой должна быть настоящая любовь... Я тоже когда-нибудь хотела обнять берег Иссык-Куля и плакать, плакать в песок, по которому ходил мой возлюбленный. Плакать от счастья и любви.

### Чёрный перстень

Где-то на краю Вселенной, на кончике плёса, густо усыпанном ракушками, под небом, заросшим колючими шипами звёзд, в телеге с сеном, на сухих васильках, мяте и безымянных лютиках лежали мы у Иссык-Куля. Затерянные в млечно-лимонном сиянии. А вокруг – и в воде под дюнами, и в небе над головой – лунный перигей. Мириады колючих дальних солнц. Туманность Андромеды. Звёздные скопления Эридана. Пыль Млечного пути, роса, свежесть, просторная синяя, гулкая полночь, плач неведомой птицы.

Мы лежали с Серёжкой, истомлённые целомудрием, и ничего не смели. Потом шли и купались в ночном подлунном озере. И оно, породившее нас, качало нас на родных материнских руках. И пока оно баюкало нас, прижав к хлипкой груди, нам было не холодно...

\* \* \*

А на берегу дул лунный прохладный бриз – ветер влюблённых и моряков. Сергей пеленал меня в свою большую фланелевую рубашку, целовал мокрые волосы. Какая у него была стройная сильная шея, точно ствол молодого явора.

\* \* \*

Однажды я заметила у него синюю безобразную татуировку с моим именем на безымянном пальце.

– Зачем же портить творение рук божьих? На! Надень, чтобы никто не видел! – сниму я свой перстенёк. – Сглазят ещё... А тут череп и крест! Оберег.

И широкое колечко обоймёт и спрячет моё имя у него на пальце.

\* \* \*

В школе (Сергей заканчивал десятый класс) ему шепнули, чей это перстенёк. Его намеренно подарил мне ещё один ойталец Серёга Ильин. Курсом старше, он учился со мной на худграфе и давно был неравнодушен...

Как это бывает у детей...

– Подари, а?

– Да ради Бога, – на!

А перстенёк-то – жуть! В темноте светится. Глаза в черепе кроваво-красные.

Чуть побагровев, Серёжка Полетаев снял с пальца этот страшный чёрный перстень. Вынул из кармана крохотную отвёртку, выковырял сначала все камушки, затем фосфорный череп и крест, зажал это всё в кулак и огляделся по сторонам. Шёл урок математики. Со злостью, изо всей силы он швырнул горсть камешков в школьную доску. Чтобы все видели! Стекляшки рассыпались, а Сергей, не дожидаясь учительской истерики, стремительно вышел вон.

\* \* \*

Всё было бы ничего, если бы ко мне вечером в клубе не подошла Любка Власова. В глазах у неё стояли слёзы.

– Эх ты! – колюче сказала она и отвернулась. – Ты отняла его у меня, а сама ты ведь фатальная коллекционерка.

– А т-ты-то тут при чём! – изумлюсь я.

– Я любила его! – призналась Любка потухшим голосом. – Да я бы за таким, как он, на край света пошла, рабой была. А тебе игрушка. Ну чё ты, чё ты тут своими спичинками машешь. Размахалась! – она схватит меня за руки и отведёт их прочь от своего лица. Она окажется сильнее меня. Драки не получится.

Смерть отложим до воскресенья. Бури улягутся.

\* \* \*

Любка Власова была симпатной, длинной худой девчонкой с серыми глазами и чудесными каштановыми волосами. Она останется такой и в тридцать пять, и в сорок восемь. Однако встречаясь со мной потом в пенатах, Любка никогда не здоровалась. Отчасти она была права. Мне нравилось влюбляться и влюблять. Вихрь невинных страстей и бурь не переставал кружить моё сердце.

«Ох, отольются тебе ихние слёзы! – говаривала мне бабушка, царствие ей небесное. – Ох, отольются!» – а сама шила мне синее-синее платье. Да в звёздочку. Да со сквознячком.

### Синяя птица

Оказывается, со скалы «Разбитое сердце» когда-то стекал маленький хрустальный водопад. Сейчас его нет. Видимо, лавины и землетрясения, изменив ландшафт, увели родничок в сторону или вовсе похоронили его.

А в онные времена, если верить миру Рахимберды, у водопада жила Синяя птица, то бишь, по-научному, лиловый дрозд.

Так вот, живёт, оказывается, синяя птица одиноко и вовсе не ассоциируется с понятием о счастье, хотя и поёт она и напевает отрадное своё: «Жить-жить-жить!» Любит жить у воды в абсолютном покое и дикости мест. Гнезда вьёт у водопадов на скалах.

Говорят, если загадать желание, увидев синюю птицу счастья, оно обязательно исполнится.

Помню миг, когда, однажды, увидев неожиданно заилийскую синюю птицу, я загадала сразу три желания. И они очень скоро, такие несбыточные и хрупкие, сбылись! Первое желание – любовь. Второе желание – своё собственное гнездо. Третье желание – божий дар творческого огня и созидания.

\* \* \*

Но почему синие птицы живут возле горных водопадов? Старинная легенда гласит, что это души погибших от жажды путников. Что ещё сказать? Корова – мать Человечества, конь – отец. А синяя птица – младшая дочь, мечта его.

### Смотрят ангелы с неба

Листопад. Октябрь. Мне семнадцать лет. Я на картошке. Ветровка, сапоги. Вокруг зелёные студенты с всенеременным гитаристом, походные палатки, полевые условия. Мы ругаемся и курим, как зеки, и чем-то сами похожи на зеков. Грубый труд делает нас грубыми, мы забываем, что мы – будущие учителя. Кроме того, именно развязные и курящие девчонки почему-то ходят в лидерах, тогда как тихони забиты и унижены пренебрежением. Кто задаёт тон – не помню. Но это в первую очередь рослые, красивые и наглые девчонки со сленгом и постоянным зубоскальством.

Я забываю, что пишу стихи, что переписываюсь с художником Васькой Бетехтиным, и предаю свою нежную душу, – лазаю по ночам красть колхозные яблоки и за пару-тройку плиток шоколада и кило конфет соглашаюсь целоваться с киномехаником Дудой. Вернее – он целует меня, я не умею. Дуда старый, пижонистый кент, ему далеко за тридцать. Он выездной киномеханик, привозит фильмы для студентов. Иногда для форса он приезжает не на рабочем «газике», а на «Волге», ещё засветло намечает себе смазливую девчонку, и пока «крутится» фильм, заманивает её к себе в машину. Старому Дуде много не надо. Просто, чтоб сидела в его машине с погашенным светом приглянувшаяся фифа, и все думали, что он – хипповый чувак. Сначала Дуда угощает тебя лимонадом, потом конфетами, а на прощание передаёт угощение и для всей группы. Староста Танька приходит в восторг от такой «халявы» и к следующему киносеансу провоцирует новое свидание с Дудой.

– Харэ выпендриваться, – говорит она. – Если б он на меня положил глаз, я бегом бы побежала – ради группы. Дуда шампанское обещал, побалдеем, – суетится Танька и намекает, что такса уже выторгована, назад ходу нет, иначе кина не будет...

– Да чего тебе стоит! – канючит Танька. – Он же добрый.

На этот раз я оказываюсь у Дуды на коленях, и он говорит, что я похожа на Клаудию Кардинале.

– «Картуш» видела? В следующий раз привезу, отпадный фильм, – говорит он и вдруг целует меня по-настоящему, как в кино.

«Это не в счёт, это не в счёт, это не в счёт...» – твержу я себе, а он всё целует и целует – жадно, ненасытно, целую вечность. Теперь-то я начинаю понимать, чем отличаются взрослые мужчины от мальчишек. Они колются щетиной и терзают лицо, как наждак, и это не в счёт – это неприятные продажные лобзания, и я не принимаю в них никакого участия.

Зато моя добыча приводит девчонок в восторг. Шоколад и шампанское. Палатка гудит и кайфует. Я в фаворе у всех, но мне почему-то противно. Я вспоминаю живопись Васьки Бетехтина, посвящённую мне: портрет у зеркала, силуэт в конце аллеи. Июль. Олеандры. Мы.

«...Видел бы Васька», – грущу я. А утром мне становится ещё противнее. Болит спина, голова и горло. Мы грузим картошку на самосвал, цепочкой, по конвейеру передаём ведра из рук в руки. Их принимает наверху крепкая задорная Танька и, встречаясь со мной взглядом, заговорщицки подмигивает:

– Что-то ты бледная совсем! – говорит она. – Похилияли – перекурим, что ли?!

Она ловко спрыгивает с самосвала, мы заходим за высокую картофельную пирамиду, укрытую ботвой, ложимся на ботву и закуриваем коронную «Стюардессу». Печальный, просторный дол. Иней. Вороны.

И вдруг неожиданный порыв ветра приносит мне прелюбопытную вещь. Это обрывок газеты «Комсомолец Киргизии». Именно на нём, на этом жалком обрывке – мои стихи. Я вздрагиваю...

*...Иногда я смотрю на порог,  
сочиня стихи ночами,  
не придёт ли ко мне юный бог  
с атлетическими плечами...*

Стихи подписаны чужим именем. «Ирина Мечек», – с изумлением, не веря своим глазам, вчитываюсь я. Выходит, наша первая активистка и королева мод на курсе, Ирка, присвоила мои стихи?! Вот это номер! Украла, да ещё и отослала в газету!!! Ничего себе прыть! Мне и в ум не приходило мечтать о публикации. Я снова, с бьющимся сердцем, вчитываюсь в текст, и вдруг начинаю понимать, что это ни больше ни меньше, чем обзор стихов молодых. И самое щекотливое не то, что стихи украдены, а то, что мои стихи **в ы с м е я н ы** критиком и сопровождаются громкими комментариями, – что-то такое ехиднёвское, типа: «О да! Поистине, религия – опиум для народа!» Мне становится жарко. Как хорошо, что под стихами не моё имя. Ирка наказана за плагиат, а может быть, за корыстное желание получить гонорар тайком от меня. Я смеюсь, подгребаю под себя газету и в мгновение ока запаливаю её зажигалкой. Танька, ни о чем не подозревая, несёт блаженный вздор. Я облегчённо вздыхаю. Газета дотлевет до черных судорог, скукоживается, как дракон, и зловеще, мерцая искоркой глаза, кровожадно смотрит мне в душу. Странно. И всё же, всё же... если уж сама Ирка Мечек крадёт у меня мои божьи искры, то не так уж всё плохо.

– В следующий раз пойдёт Ирка Мечек, – небрежно бросаю я, имея в виду Дудины сладости.

– Да это же конь с копытами! – сплёвывает Танька. – Кто на неё позарится?!

И красивая, высокая, постоянно конкурирующая Ирка, которая рассекает на мотоцикле по горам и танцует как богиня, вернее, идол Иркиного превосходства, вдруг начинает рушиться. Я перестаю уважать её и её власть над

группой. Я понимаю свою тайную силу и знаю, что если она и считает меня слабее себя, то только за мою непрактичность и бескорыстие. Всё остальное ей только снится. Я расправляю крылья, гордо вскидываю голову и вижу над собой чисто промытый и продутый свежим ветром осколок мира с крошечным Дудой и ещё более крошечной Иркочкой Мечек. Взамен зловонного города – синее, синее море. А может, зеркало небес. Смотрит Создатель в него – не налюбуется. Смотрят ангелы со слепящих белых облаков – не наликуются. Смотрят черти со дна преисподней – не насытятся грёзами вожделений.

### Король снов

Своим родным домом я считала дом деда Фёдора Ивановича Свистунова. Там на потолке висел крюк от моей люльки, а на чердаке были спрятаны детские куклы и рисунки.

Я любила приезжать домой. Там жили мои тайны.

В юности мне нравился соседский парень Валерий. Стиляга. Красивый, гад, гордый, надменный. Голову высоко задирает. Бывало, едва глянет. Поздоровается с холодком, вежливо и – мимо. Ох и задавался! Я только посмеивалась в душе. Воображать и задаваться и я могла. Только зачем?

С ним хотелось быть снисходительной и естественной. Конечно, веди он себя попроще – быть бы ему королём девичьих сердец. Я его мысленно так и называла: «Сероглазый король», начиталась лирики. Бывало, нет-нет, да и приснится в светлых снах. Нет-нет, да и ёкнет сердце где-нибудь вдали от дома, от нечаянной встречи. Таким недосягаемым он тогда казался.

Потом я уеду учиться, повзрослею, начну красиво одеваться, крутить локоны и увижу, что мир полон куда более умных, более загадочных парней.

Бывали парни и покрасивее Валерия. Всякие бывали: и насмешливые, и пижонистые, только не было таких гордых. Никто так не задирает передо мной голову, никто не глядел свысока. И вот однажды, после возвращения домой на каникулы, сворачиваю я в свой родимый широкий, необъятно-заболоченный переулочек Луговой, и вижу издали кудри своего сероглазого короля. Со спины узнала. Сердце заколотилось как бешеное. Вот он ты где, тихушник, недотрога!

Тропинка под ногами луговая, зелёная. Так что иду я бесшумно, ног под собой не чувствую, только торф сырой пружинит. Комары. Краина. Красота неопишуемая. Ивы, заводи лягушачьи, белый шиповник цветёт, ряска на болоте.

Приударил за им, как никогда ни за кем. К горлу комочек горячий подступил. Интересно, какой он теперь стал, неприступный властитель дум и снов девичьих?.. Глядь, а впереди него нищенка увечная, местная дурочка идёт. И очень он поглощён разглядыванием голых икр этой женщины. Идёт, ничего не подозревает у себя за спиной. А дурочка дряблая, запитая, мальчонку лет трёх за руку ведёт. Слышу – окликнул! Он! Такой гордый, скромник, неземной, мечта, – окликнул её. Видно, не первый раз окликает. А та идёт, не оглядывается. Пьянь подзаборная, а форс держит, идёт с достоинством, даже с досадой какой-то, шаги ускорила. Он снова окликает дурочку грубо, немного в нос, властно так:

– Моника, вина хочешь? Пойдём в камыши. Моня... Ну!..

...Не слышно было, что уж говорил там Валерий ещё. Увидела только, как, вздрогнув, со страхом повернулась к нему она: губастая, тёмная, но глаза гневные.

– Мало тебе, насильник! – вскрикнула дурочка. – А то не знаешь, что мальчонка от тебя. Хушь бы копеечкой помог, ирод! Всё вино да вино... вот оно где у меня, вино твоё! – она рванула рукой по горлу. – Глухонемой мальчонка-

то, по хмелю, во грехе зачатый. Как только тебя земля носит?! – И она побежала, увлекая за собой белокурого мальчика с красным, облупленным от солнца носом.

– Чё гонишь, дду-у-ура! Я тя, выдра! – крикнул Валерий, ускоряя шаги. Вся его фигура и движения напряжились и выражали агрессию и хищную осторожность.

Красная от смущения и стыда за невольное разоблачение чужой тайны, я пожелала, чтобы всё это причудилось. Но вновь раздавшиеся голоса на болоте – один тревожный, как у птицы, другой – с волчьей угрозой резанут по сердцу.

И сразу весь мир словно перевернётся. Исчезнет и трепет, и робость, и невинная прелесть дорогого, так часто снившегося лица.

А на следующий день, увидев в саду за соседним штaketником гордый патрицианский профиль короля своих снов, его мучительную, неестественную позу ожидания, вместе с фальшивой, напыщенной отстранённостью, я, обменявшись с ним взглядом, вдруг заметила: он весь дрожит, как раненый зверь, дрожит и ждёт лишь одного моего звука, взгляда, жеста. Моё внимание привлекает чудесный букетик незабудок в скромной корзинке, стоящей рядом с изгородью. Такие незабудки росли только в его саду. Снова вспомнится Дурочка. Дурочка и незабудки. Этот контраст резанёт ещё более острой болью, и всё долгожданное, выстраданное и наконец сбывшееся покажется мне жалким и ненужным.

Блестящей изумрудной чашей жизни лежало перед глазами заросшее болотистое пространство. Всё так же в изгороди цвёл белый шиповник. И эти узкие тропинки, вдоль и поперёк истоптанные когда-то нашими босыми пятками, всё ещё напоминали о нём. Но очарование детства прошло. Его ничтожество умер.

### Творение века

«Ситцевый бал», – кричала афиша, и первые рыжие листья падали к нашим ногам, как сердца. Ах, как мы любили наряжаться на эти балы! До сих пор помню те кружева, туфли на шпильках и запах пудры «Кармен». А черная бархатная тушь, способная превращать ресницы в крылья бабочек?! А карминная помада, духи, живая ромашка, которая вставлялась в sprыснутый лаком начёсик стилия а-ля королева Марго? Что ещё? Ах, да... ещё бусы и браслеты, серебряные колечки с бирюзой и экстравагантные пряжки широких лаковых ремней. На всё это уходила уйма времени. Это был ритуал ритуалов, счастливейшее время, которое выливалось в необъявленное соревнование по искусству перевоплощения. О! Мы знали в этом толк и поражали воображение друг друга самыми немыслимыми фантазиями. Так в конце двухчасовых сборов выяснялось, наконец, кто есть кто! Райка превращалась в египетскую царицу с чернющими, громадными в пол-лица глазами и спиралевидными блестящими локонами. Светка чувственными губами, бровями-крыльями и ресницами-опахалами здорово напоминала королеву Шантеклера. Я воображала себя принцессой Турандот. И только ироничная и гордая Саша Лебедева, молча наблюдая за нами и качая головкой, всё изумлялась, с каким расточительством, как глупо и наивно мы теряли драгоценное время и молодые усилия на фарс и пустоту.

– Мыслимо ли так долго торчать у зеркала с щипцами для завивки! – восклицала она в тихом ужасе. – Да... вы...

Она не находила слов. Однако в её умных, справедливых глазах можно было увидеть всё: недоумение, насмешку, лёгкое презрение и даже испуг. Нет,

она вообще не понимала кайфа лицедейства. Не понимала нашего легкомысленного возбуждения, карнавальная загадочности и чертовщины. Она метко снабжала нас мгновенными характеристиками, и мы, поражаясь остроте её ума и чувству юмора, нисколько не обижались. Нам даже было интересно.

– Этакая миленькая, беленькая парварда! – замечала она вскользь, и все понимали, что это Светка. Никуда не денешься: да – простушка, да – мягкая, да – сладенькая парварда!

– Госпожа по имени «То играет, то не играет», – снова тонко труня, задела Саша, теперь уже Райку, и это тоже было так точно!

И только одна-единственная реплика в мой адрес показалась мне немного обидной: «Скромная кокетка».

– Намёк на недостаток смелости! – хохотнула Райка и, танком подступив ко мне, с силой прошлась своей кроваво-красной помадой по моим губам, едва тронутым чем-то розовеньким с блёстками.

– Вот так надо красить рот!

Нет, Саша положительно не понимала нашей любви и страсти к перевоплощениям. Более того, похоже, она считала унижительными наши старания ради... Ради чего? В этом её вопросе было столько надменного презрения к парням, к которым она была царственно-равнодушна и холодна. Зато мы понимали её высокомерие отлично. Её невозможно было представить ни египетской царицей, ни королевой Шантеклера, она могла быть только Сашей. Даже самая оголтелая модница честно и молча запротестовала бы при мысли, что ясное Сашино лицо с неповторимым дерзким взглядом и по-детски свежими губами можно было тронуть краской. Это было бы похоже на грязь, которую Саша поспешила бы стереть тотчас. Да и разве могла наша грубая помада и тушь за два рубля соперничать с её природным совершенством и чистотой? Она была неповторима, строга, прекрасна и чертовски современна. Такого лица ещё не было запечатлено ни на одном холсте, ни в одном кинокадре. Это было начало творения будущего – двадцать первого века, дитя загадочной эпохи с её высокими порывами, идеалами и дерзостью устремлений. Глядя на неё, нам хотелось ещё с большим усердием и смутой в душе трудиться над своими старомодными лицами, в которых не было ничего, кроме глупого оптимизма и бессильного азарта перед броском в жизнь.

А Саша, наблюдая за нами, заждавшись и поглядывая на часы, всё качала и качала головой, всё говорила о высоких материях, о своём физмате и нашем худграфе, о Гегеле и Эйнштейне, обещала нам какие-то редкие книги. И вдруг оказывалось, что она, кажется, раздумала идти с нами на танцы.

– Да ты что, бог с тобой! – очумело набросились мы на неё, не понимая, как можно было добровольно отказаться от такого счастья.

– По-моему, это безумно скучно, – сказала она, утомлённая нашими бесконечными сборами, нашей глупостью, легкомысленными смешками и надоевшей пластинкой с Леценко. – Приходите ко мне лучше завтра пить чай с абрикосовым вареньем. Я вам немного погадаю и даже сделаю логические предсказания будущего.

Пластинка хрипнула и затихла. Послышалось пенье цикад и сверчков. Ласковый ветерок лёгкой грусти оведал наши юные наивные щеки, и мы, чувствуя её недосыгаемую высоту и отчуждённость, словно сквозь некую толстую оптическую линзу, уже навсегда разделившую нас, влюблённо и заинтригованно распрощались с ней. И так как ни в коем случае не могли пропустить завтрашние танцульки, сошлись на том, что она просто черкнёт нам – каждой по паре строк своих логических предсказаний. Ни тени зависти, ни червячка ревнивой гордости тогда ещё не ведали наши чистые девичьи души.

\* \* \*

Я так потом и не узнаю, что напишет она моим подругам, но зато буду помнить всю жизнь её записочку, заложенную и переданную мне в одной занимательной книжонке... Леви? Да, кажется, Леви, «Охота за мыслью», которую Саша обещала мне подарить. В записке было написано следующее: «Милая девочка, конечно, в душе ты – актриса, поэт и романтик, но рано выйдешь замуж, и твой изумительный голос выстудит семейная каторга. Муравьиная суть созидателя убьёт в тебе созерцателя, а альтруизм задвинет эго. У тебя не будет похожей на фейерверк судьбы, мужчин, дорогих шуб и драгоценностей. И всё же... всё же я хочу сказать тебе, пока ещё не поздно, только одно: не украшай собою этот алчный мир – он этого не достоин. Не променяй настоящую ложу королевы или партер госпожи на подмостки с жалкой ролью принцессы-плаксы. Наслаждайся, созерцай, цари. Жизнь – миг! Твоя Саша».

Я была не самой сообразительной, не самой доверчивой девушкой, чтобы сразу вникнуть в истинную суть её предсказаний. Мне понадобится целых двадцать лет, чтобы однажды увидеть в зеркале своё словно просветлевшее лицо.

Я думала о Саше. Какой же долгий путь надо было проделать, чтобы наконец-то почувствовать себя её ровней и возжелать встречи с ней – незабвенным своим туманным идеалом, предметом истинного восхищения как образцом небанальной красоты и свободы духа.

Судьба забросит меня в родной город однажды, на исходе августа, в пору вызревшего винограда, полной луны и грандиозных концертов сверчков и цикад, сведённых в единый хорал под звёздным небом. Я разыщу одну из своих подруг юности и за чаркой доброго сухого вина не удержусь, вспомню о Саше, сетуя, что мы так никогда и не сблизились. «Где она? Что с ней? Ты помнишь, какая она была?! Наверное, блистает где-нибудь в Ниццах или в какой-нибудь Барселоне?»

– Прямо там! – с величием Клеопатры возразит мне подруга и со стуком отставит от себя бокал. – Видела я её, – недобро хохотнёт она. – Газетами торгует в киоске у рынка. Потрёпанная, закуренная, толстая. Усы, бородавки... И ведь не унижится до того, чтобы привести себя в порядок. Жуть! А у тебя что? Парик, что ли? – она пошупала мои волосы.

– Свои...

– Прямо как парик. Шикарные. Не похоже, что свои.

– Значит, парик, – холодно усмехнусь я, потрясённая её рассказом о Саше.

– А Сашка седая, стриженная под мужика, – немилосердно продолжит подруга. – Мы теперь, пардон, за её дочек сойдём. Боже, там такая гром-баба. Она же за издёву над личностью считала ухаживать за собой...

\* \* \*

Я не поверю, но жажда встречи отхлынет. Наверное, я просто смалодушничая. Кто-то из мудрецов сказал, что только в сверстниках, не пытавшихся обхитрить природу, мы можем увидеть, как в зеркале, правду о себе.

С этими мыслями я бесстрастно взгляну на современный дубликат Клеопатры а-ля Райка Огурцова и с удовольствием отмечу, что она почти не изменилась. Стройная, как тростинка. Лицо – отполированное до блеска. Бархатные ресницы, умеренный грим. Интересно, какая роль в этой жизни была выбрана ею – этой элегантной мадам?

Она жеманно назовёт себя женой президента одной крупной компании, и станет очевидным, кто нынче блистает на несравненных проспектах Барселоны и Ниццы – они, «новые русские» – Райки.

– А Саша? Саша замужем? – рассеянно прерву я её и сразу нарвусь на резкость.

– Боже, кому нужна эта шляха?! – разозлится Райка. – Далась она тебе! Не вздумай пойти к ней и тем более слушать её – испугаешься. Кликуша, груда мяса – тень бывшей Саши.

\* \* \*

И всё же я пойду. Я куплю газету у Саши. И сделаю вид, что не узнала её. Я вспомню юность, наши наряды и сборы на танцы, заигранную пластинку об отцветших хризантемах в саду, песни кузнечиков и цикад и её юное прекрасное лицо. Почему мне казалось, что она была самой лучшей, самой-самой среди нас? Творением будущего – двадцать первого века? Я силилась понять его обман – и не понимала. Я медлила. Мне не хотелось уходить обманутой, ни с чем, назад в своё одиночество. Толстая киоскёрша с усами – тень Саши, страшная, как правда, жевала жвачку, спокойно дышала рядом с похожей на лохань пепельницей, полной окурков, и, не видя меня, угрюмо читала «Спид-Инфо». Я уже слышала оклики и гул приближающегося троллейбуса. Надо было идти. И вдруг... она подняла на меня свои удивительные, по-детски добрые, единственные в мире глаза...

### Чудотворная

Беззлобно за спиной мы – однокурсники потихонечку передразнивали её походку, рубящие воздух жесты, пацанячью мимику, похохатывали и изгалялись каждый по-своему. «Чмо», – тихонечко цедил ей кто-нибудь вслед и гаденько хихикал нехорошим тонким голосом.

– Что такое Чмо? – спрашивала какая-нибудь хорошенькая Ирочка удивлённо.

И кто-нибудь, хихикая, ещё смачнее и ядовитей пояснял:

– Знаешь ли, – когда ни кожи, ни рожи, а одни прыщи только...

– И ножки! Ножки – оторвать бы, да по физии, – бросал вдобавок кто-нибудь ещё, содрогаюсь от собственной жестокости.

Кликуша, правда, к Тоне не пристала, но в сердцах кто-нибудь нет-нет, да и подумывал про себя: «Чмо! Ну, Чмо ведь!..»

Тоня с весны уже заказывала для дома уголь на будущую зиму, закупала муку и крупу, чистила печи – бесчисленные печи в поликлинике и у себя дома и наконец облегчённо вздыхала: «Баста! Всё. Наконец-то тепло. Скоро лето. Заботы позади. Куплено. Заказано. Дверцы печей захлопнуты до следующих холодов». И сиреневый обморок посещал её сердце – хотелось влюбиться, как все нормальные девушки, ходить в кино или на танцы, надеть светлое платье в цветочек.

Её сокровенные желания просвечивали в неожиданных вывертах и словечках. Она приходила на занятия и неожиданно для себя врала во всеулышанье:

– Девочки, я выхожу замуж... за офицера... Едем с ним на Дальний Восток...

Потом приходила и как ни в чем не бывало сообщала, что лейтенантик оказался подлецом и пройдохой, что он был, оказывается, уже женат, а таких ей не надо!

То вдруг мрачнела, и оказывалось, что дела домашние с наступлением тепла ещё только начинаются. Надо бы красить рамы и двери, вскопать участок земли под окнами коттеджа, где они жили, посадить картошку, огородить, полить, почистить арык, посетить как старосте Скурихина на дому и

узнать причину его постоянных отсутствий на занятиях. И много-много ещё такого, чего невпроворот, не отложить, не обойти.

– Сходила б в кино, что ли! – ворчала старая повариха мать, растирая камфорой больные ноги. И душный этот запах гнал Тоню из дому. Она пристраивалась к младшим своим сестрёнкам, шла с ними на танцы и угрюмым долгим столбом возвышалась, как вкопанная, над пяточком.

Никто не приглашал её, не поглядывал в её сторону. Иногда путали её с парнем и, не глядя в лицо, грубо просили закурить.

С восхитительным спокойствием она возвращалась домой, холодно зарекаясь никогда, никогда больше, ни под каким предлогом не появляться там.

Шёлковый шелест травы и матовый свет лета будил её утром, и вдруг оказывалось, что никуда не надо спешить – дела, учёба позади. Каникулы. Мать уехала на курорт, сёстры с племянником – кто куда. Одна! Вольная, лёгкая, как ветер, по горло в музыке тишины.

«А ведь мне уже двадцать девять», – подумала она и услышала, как бледные дороги земли и искушений обтекают её со всех сторон.

Порывшись в шмотках сестёр, она всё-таки нашла какое-то нелепое платье в цветочек и, как мечтала зимой, принарядившись, пошла на поиски того, в чём было дико признаться. «Пойду и влюблюсь в первого встречного, – мужественно решила она, – и приведу к себе...»

Спотыкаясь и корячась на чуждых ей каблуках, она кое-как добрела до перекрёстка и растерялась: неподалёку от дома кинотеатр, роща с беседками, где можно встретить пьянчуг, собирающих бутылки, направо пустыри с пролысинами меж лопухов и репейников, дохлая кошка и мусорная фудзияма с вороной на макушке, дальше город – пугающий, насмешливый, неприступный и новый для её каблуков и наряда.

Тоня вошла в рощу, как входит, наверное, в храм иноверец, озираясь и прислушиваясь к пению птиц, и нос к носу столкнулась с соседом Володей.

Это был не самый плохой «первый встречный», какого загадала себе Тоня, скорее наоборот, вполне ничего себе, видный, плечистый, большой – одного с Тоней роста и возраста, он даже приснился ей однажды, и сон был непристойным, горячим и страшным в своей неизъяснимой остроте блаженства ощущений. Тоню бросило в жар, но, не умея играть, кокетничать и вихляться, она угловато, но уверенно, по-свойски, по-мужски разговорившись, рубанула с плеча:

– Я одна, знаешь ли... все разъехались кто куда. Скучно. Приходи в гости вечером, у меня Гендель, Домский орган – в комиссионке купила, послушаем музыку хоть раз в жизни, Аве Мария есть.

Володя снисходительно, с лёгким презрением глянул в красное от смущения лицо Тони, подыскивая более мягкие слова отказа, и вдруг это её жалобное: «Аве Мария есть...» живо напомнили ему, что перед ним не кто-нибудь, а дочь Мануйлихи, Чмо, козлица и балда, которая талдычит ему о том, что она одна, да ещё и приглашает в гости. Каким надо быть остолопом, чтобы не воспользоваться случаем побывать в спальне самой старухи Мануйлихи! Ведь там, в углу... на ризнице среди образов Богородицы... Он задохнулся, отгоняя от себя навязчивую тёмную мысль. Эта мысль пронзила его всего, точно током, внутри похолодело. Там среди икон у Мануйлихи всем иконам иконка! Маленькая, почти черная от времени, – так себе, ни вида, ни рамки. Да только, может, он один в округе и знает, что это за икона и чего она стоит! Как увидел весной, забежав, старухе должок вернуть, так и заболел ею. Просил продать, да куда там – ни в какую. Упёрлась старая, как отрезала: «Благословение матушкино. Этой иконой, – дескать, – прадед бабушку мою благословлял на

счастье перед венчанием, беречь наказывал как зеницу ока. Чудотворная, говорят, икона-то, самим Сергием Радонежским освящённая».

Предлагал тыщу, и две, и десять, да куда там...

Неодолимое желание увидеть икону ещё раз, хотя бы одним глазком, вмиг преобразили ледяную чёрствость Володи по отношению к Тоне. Боже мой, как всё просто, будь я проклят, если иконы нет на месте, подумал Володя. А куда ей деться? Не повезла же её Мануйлиха за собой на курорт. А Тонька, вот дура, влюблена, как корова, и глаза коровьи, доверчивые. Всего только одно движение – и Чудотворная за пазухой. Этой балде и в голову не придёт, что я способен на такое. Пока старуха хватится – рак на горе свистнет. Да и на что она им – Чудотворная? Что они смыслят в этом? Одно заладила: благословение, благословение... На кой ляд ей это благословение, если живёт всю жизнь в развалюхе казённой?! Была бы стоворчивей, хватило бы и на дом, и на старость. Эх... была не была, сама виновата, вдруг решился Володя и, словно как обрадовался, хлопнул её по плечу: «Ну, мировой ты парняга, Тонька! А мне как раз некуда со своей Ленкой деться. Придём! А как же! Во сколько?»

И Тоня, обмякнув, усиленно улыбаясь одними губами, прошептала как ватная: «Ф... пять. С Ленкой так с Ленкой».

И пошла, мучительно, пристально разглядывая прошлогоднюю листву под ногами по пыльным травяным джунглям, ощущая себя великаншей неведомой вселенной, непомерной каменной бабой потусторонности.

В беседке, открыв белый сугроб пустынной книги и медленно разгребая его, она замёрзла, застыла вдруг на целую вечность и скучно подумала: «Почему всё так ярко, резко и подло?»

На отполированной чреслами лавочке резала глаз какая-то отчаянная, должно быть, исповедальная надпись: «Лена, я видел всё! Тебя! Тебя с ним подробно, последним подлецом, видел, как ты и он... я ненавижу тебя».

Тоня поймала себя на мысли, что сидит, наверное, с особенно некрасивым лицом, с необыкновенно толстыми отвисшими губами, и сплюнула. Одухотворённое животное! Ты лучше прислушайся, как пересыпается в твоих костях песок, соль и старость, как в широм сердце падают листья и струится собачий холод.

Она грустно вернулась домой, вздохнула и стала готовиться к приёму гостей по всем правилам старорусского хлебосольства, как учила её мать. Конечно, – думала она про Володю, – конечно, им нравятся такие как Ленка, доступные, лёгкие, забубённые вертопрашки. Он и обо мне будет теперь такого же мнения – мол, все девчонки дешёвые! И тут же покатила со смеху от своих размышлений: девчонка, в тридцать-то лет!

Пирожки получились воздушные, маленькие, как лодочки, полные аромата и фантазии, терракотовой пирамидой высился невиданный торт, коралловым островом манил салат, нежными коконами дымилась голубцы, когда Володя с Леной, наконец-то, осчастливили приходом.

Лена училась с Тоней на одном курсе, потом перевелась на другой факультет, но Тоню знала хорошо, и, немножко жалея её, польстила ей:

– Она у нас умница!

– Волшебница! – горячо поддакнул Володя, рассеянно потирая руки.

– Она у нас искусница... – с издёвкой в голосе продолжала Лена.

– Класс! – поднял бармак Володя.

– Она у нас сим-по-по! – давясь неожиданным весельем, сюсюкала Лена.

– У-у-у! – мычал, причмокивая, Володя.

– И к тому же, – облизывая пальцы, совсем уже по-кошачьи, проурчала Лена, – она у нас... сказочница! Знаешь, какими сказками она нас развлекала

на первом курсе, ночью в палатке, бр-р, до сих пор жутко, про мертвецов, про ведьму, которая на мальчиках каталась, а потом они желтели и умирали... помнишь, Тонь, расскажи... А стихи, помнишь, ха-ха, ты писала стихи. Почитай что-нибудь.

И Тоня не заставила себя ждать. Раскрасневшаяся от духовки и возбуждённая, неожиданно похорошев и заблестев синющими своими глазами, она начала:

*...Тогда в тени, найдя два зеркала,  
Направлю я их друг на друга.  
И вдруг увижу бесконечный коридор.  
Тот коридор, который так меня влечёт  
На грани вечности и антимира...*

– Такими стихами можно кого-нибудь и вызвать! – суеверно поёжилась гостья. – Или наслать...

– Это не спиритизм, – усмехнулась Тоня.

– Это сильнее, это псиоружие, – посерьёзнев и как-то странно взглянув на Тоню, произнёс Володя.

...Пирожки были съедены, коралловый остров растерзан, коконы развёрнуты, пирамида разорена, и Тоне не осталось ничего, как смириться и рассказывать дотошным своим гостям сказки. Она взяла гитару и, импровизируя задумчивый, как морские приливы и отливы фон, превратилась вдруг в актрису и импровизаторшу, интересную до чёртиков.

– В некотором царстве, в некотором государстве жили три сестры, – начала она низким дурашливо-художественным голосом. – Как-то пришёл к ним странник юродивый в лохмотьях и попросил ночлега...

– Мне страшно. Сейчас она тако-ое... – подала голос Ленка.

– ...Сам до того дряхлый и немощный, что как ни стращали родители никому двери не открывать в их отсутствие, а всё же не побоялись сестрички. Что в нём страшного? На него дунь, он и улетит. Пожалели нежданного гостя, напоили, накормили, причесали, одели во всё чистое, обласкали, спать уложили на перины пуховые да на простыни новые.

Вот проснулся старичок утром, приблизил к сестрам свои глазки хитрые близко да поклонился низко:

– Дай вам бог всего, деушки-припевушки. В благодарность мою – откроюсь вам, красивые, что умею я сотворять чуды разные: красивой могу сделать... богатой... доброй! Только, чур, желанье одно загадывать, за мной не подглядывать – глядеть на дно – выбирать одно! – Выхватил напёрсток серебряный, разукрашенный, да и подносит младшенькой, самой красивой, и говорит: – Смотри сюда, красота, здесь святая вода – кем хочешь быть? Или ещё краше, чем есть?

Подумала младшенькая, гордая да спесивая, да и говорит:

– Я и так красивая, красасавица хоть куда, чем за вязаньем не досыпать, лучше богатой стать... – И тотчас явились ей в руки ключи от дворца невиданного – богатства неслыханного.

Поднёс старичок наперсточек к средней. А средненькая – рябенькая да бедненькая, вся аж задрожала:

– Красивой хочу быть, красивой Любашки, а там и лысого чёрта не страшно.

Не успела сказать, а её и не узнать. Все аж ахнули:

– Прын-це-е-есса! Ресницы – во! Ноги до ушей! Талия, бедра, рост богини, и такое превосходство, и холод чужой в глазах!

Обе забыли даже поблагодарить кудесника, а на старшую, Настеньку, и не взглянули.

Не по себе стало Настеньке, заохлонуло у неё сердце от нехорошего чувства к сёстрам, защемило, невмоготу, ужаснулась она злой обиде, поднявшейся в ней на любимых сестёр, поняла, что теряет родных, дорогих, вынянченных ею с колыбели, да и пожелала быть доброй. И как-то сразу отлегло, помягчело на душе, словно гора с плеч спустилась, посветлело всё вокруг и сделалось милым и весёлым, а радость за сестричек так заполнила душу, так заплескалась вокруг лучами да красками, да звуками песенными, неслыханными, что почувствовала себя Настенька такой счастливой, такой счастливой, каких, наверное, не бывает на белом свете. Поклонилась она за это старичку в пояс.

Так зажили они – каждая сама по себе – богатая, красивая, добрая.

Вот живёт миллионерша Любава во дворце каменном, расписном. Стража вокруг, псы учёные, лимузин чёрный во дворе, видеозал с баром в бархате, а в баре мороженого только сто наименований. Живёт Любава, Глебовной себя величает – у меня-де, мол, княжеская закваска в генах, кровь, говорит, у меня голубая.

А Даша – та в Диану перекрестилась и на всемирном конкурсе Бобовых Королев завоевала Звание Мисс Вселенная. Призы, понятно, со всех сторон, презенты заслуженные, штукатурка заморская, корона из чистейших бриллиантов и лимузин чёрный в подарок за красу ли, за боб ли, счастливо попавшийся в куске пирога, запечённом судьбой.

Живут, радуются и думают: «Как там, интересно, Настька, дура, пожирает? Вот дура так дура, ходила бы сейчас в миллионершах, али в королевах красоты, разнаряженная, сытая, холёная. А доброта? Кому она в наш век – доброта нужна-то?!» Подумали, подумали, да и решили позвать её в гости, угостить, подарить, может, чего ненужное, даром – платье не счастье – один час походила, уже старое или немодное, кроссовки финские там, джинсы американские...

Ну, позвали. Стала собираться Настенька к сёстрам, радуется. Подошла к зеркалу, а лицо-то худенькое, морщинки у глаз, в глазах не то чтобы грусть-тоска, а печаль по сёстрам пополам с одиночеством таится, одежонка старенькая, туфли стоптанные, а других тю-тю – не купить, дороговизна нынче на всё. Как идти к таким знаменитым да расфуфыренным? Пригорюнилась. А тут, откуда ни возмись, тот самый кудесник появляется и шепчет ласково: «Глупая, а палочка-то, палочка-то на что? Ты у нас кто? Добрая... волшебница... вот и волшебуй». Взмахнула Настенька дарёной палочкой и стала прекрасной. Прекрасной, как и подобает добрым волшебницам. Ни ресниц вроде особенных, ни форм, ни нарядов карденовских, а тихий ровный свет от всего облика – глаз не оторвать, вроде ничего такого, а тянет и тянет смотреть на неё ненасытно, думать о ней, мечтать, надеяться. Ненаглядная, говорят про таких. Ахнул кудесник, обернулся добрым молодцем и произнёс это слово вслух: «Ненаглядная моя, я ведь давно тебя знаю и люблю!»

Обручились они, навестили сестёр и зажили чудесной жизнью, какой могут жить только волшебники, жизнью, перед которой и богатство невиданное, и красота неслыханная преклонят головы.

\* \* \*

Мглистая сумеречь, медленно сгущаясь, вошла в дом, и Володе действительно на протяжении всего Тониного сказа было не по себе. Словно некая сила стояла за её спиной. Словно невидимые духи и тени витали в глубине комнатухи за темным зияющим проёмом двери спальни Мануйлихи, где висела вожденная Чудотворная.

Володю охватила необъяснимая нервная дрожь. «Что это, Господи», – подумал он, с волнением всматриваясь в лицо Тони.

...Тоня сделала последний аккорд по струнам, и вдруг все увидели незнакомого высокого старика в шортах, неожиданно выросшего в дверях гостиной. Приняв его за знакомого Володи, Тоня вскочила:

– Проходите, что же вы? Будьте гостем, садитесь. Чаю?

– Чаю! – весело кивнул старик, усаживаясь за стол.

– Будем знакомы! Да вы угощайтесь, будьте как дома. Тоня! – протянула руку Тоня.

– А я самый старый старик на свете, – пошутил неожиданный гость, засмеявшись и подмигивая Володе.

– А всё-таки? – не боясь быть навязчивым, спросил его Володя.

– Святой угодник, прям оттуда, – указав на небо, отшутился снова старик.

– Тогда предскажите нам нашу судьбу, – в тон ему весело отозвалась Тоня.

– А чего гадать-то, видно всё по глазам твоим, ластонька. Счастливая. Счастливая ты, и сердце у тебя золотое. Расцветёшь еще поздним невиданным цветом всем на удивление. Проплывёшь по жизни лебедушкой, да не Царевной-Несмеяной, а Василисой Прекрасной на радость своему суженому.

Старик говорил так, словно только что подслушал сказки Тони.

– Вот это да! – расхохоталась Тоня от души. – Ну и шутник вы, дедушка, низкий поклон вам на слово добром, только суженый-то мой кто?

– А хоть вот он, – кивнул старик в сторону Володи, лукаво щурясь и посмеиваясь в тон хозяйке.

– Ну уж, – погрустнела Тоня, переводя взгляд на Лену. – Ошиблись, дедушка, у него своя невеста есть, – и она усмехнулась, стараясь изо всех сил не потерять шутиливую нотку в голосе.

– А вот это мы увидим, – ещё лукавей прищурился старик. – Нынче-то гадальщик здесь я! Быть ей невестой другого в следующем году, а тебе... как я сказал... и уже в этом году, совсем скоро.

Старик допил чашку, вытер пот со лба, поклонился и испарился, будто бы его и не было никогда.

– Чудной какой-то, – прыснул в кулак Володя. – Тонь, эт кто?

– А разве не твой знакомый? – удивилась Тоня. – Я подумала, он за тобой...

– Придурок какой-то, – обиженно поджала губы Ленка, ей явно не понравились предсказания старика. – Небось, к Мануйлихе за сплетнями забрёл!..

– Да брось ты! Старик как старик, настоящий, заковыристый, каких теперь мало, это же искусство – быть настоящим стариком, – возразил Володя, нахмурясь, – жаль, что он так быстро ушёл, правда, Тонь?

Тоня кивнула, боясь взглянуть на Володю, чтобы не обнаружить своё смущение.

– Пошто, Василиса Прекрасная, взгрустнула? – дурашливо обратился к ней Володя и вдруг осёкся. В глазах Тони почудилось такое! Он снова заволновался. Он повидал в жизни многое, но чтобы так преображался человек на глазах!!! «Что это, Господи?» Нервная дрожь всё не проходила. Володя почувствовал жар.

Снова и снова жадно вглядываясь в это словно приоткрывшееся из-под столетней рогожи лицо, он ясно увидел, что Тоня давно сильно изменилась с тех пор, как он увидел её когда-то ещё в школе. Исчезли красные воспалённые прыщи, так портившие овальное, почти правильное лицо с высоким лбом. Она немного пополнела, и черты её приобрели нежную женственность и округлость, тело перестало казаться долговязым и пацаньячим. Вся загвоздка была в ярлыке, который повесили ей в юности – Чмо.

Никакая она не Чмо, подумал Володя, опешив от собственного открытия. Она нравилась ему, как может нравиться открытая только что звезда на небе, или материк среди океана, полный щедрости и тепла. Он вдруг представил, как бы перенёс все ухищрения искусной модницы Ленки на Тоню, явственно увидел её другую – мадонну, звезду, волшебницу. Она была вся из сказки, сочинённой только что ею. Вся без остатка, со своими мечтами, сёстрами, несбывшимся волшебством. Он не стыдился ревнивых взглядов Ленки. Ленка была его худшей из интермеццо, и не такая она была дура, чтобы не оценить с ненавистью преобразившуюся на глазах, похорошевшую, яснолицую, синеглазую Тоню, не отдать должное её кулинарным способностям и вообще бездне обаяния, чертовщине, перед которой Ленка была бессильна.

Чуя неладное, с неожиданной ласковостью самки, теряющей позиции, она потянула Володю домой. Да и было уже поздно.

Пригубив напиток тьмы и неожиданной грусти, отстраняясь от Ленки, Володя шёл, почти физически ощущая, как он ничтожен и мелок в сравнении с чистотой, которая только что на миг доверчиво приоткрылась ему. Он шёл и чувствовал, как он потрёпан, как время проступает сквозь кору лица серыми мхами и морщинами древних пустынь, и снова вспоминал, как преобразилась на глазах Тоня, светилась, как лампочка под абажуром, горела вся без остатка. А они ели, ели из её рук, да похихатывали, не ведая ничего про эту душу. Уж не говоря о тёмном, позорном замысле – украсть икону!

– О чём ты? Вернее, о ком, а? Куда ушёл-то? – во враждебном своём раздражённом одиночестве спросила Ленка. – Неужто эта Чмо так запала тебе в душу?

– Она не Чмо! – вздрогнул Володя. – Не смей! Она... – он не договорил, кончившийся ущербный переулочек бросил ему под ноги ровные аллеи города. Из маленького его сердца всё ещё торчали ромбы, углы и тетраэдры прошлого, но всё это было теперь так тускло.

Спешно проводив Ленку, Володя, чувствуя себя вором, котом, рысью, последней скотиной и всем кем угодно, вернулся назад к Тониному дому и постучал в окно.

– Тоня, прости, я, наверное, идиот и последняя скотина в твоих глазах, прости меня, я... – Он встал на колени. – Я...

– Ну что ты, что ты... всё хорошо, Володя, – произнесла Тоня быстро, – но уже поздно. Приходи утром. Утром, – добавила она строго и закрыла за собой двери.

– Что ж, я подожду до утра, – смиренно усаживаясь на крылечке, сказал Володя.

Он взглянул на усыпанное звёздами небо, на погасшее Тонино окошко, потом на дворового пса, не сводящего с него умных, всё понимающих глаз и, облегчённо вздохнув, счастливо улыбнулся.

### Реквием

Друзей много не бывает. Но приятелей и приятельниц у меня пруд пруди. До сих пор беру и буду брать уроки у самых ярких и помнить их неординарные истории.

\* \* \*

«...И когда маки покроют страну могил... Горячее мёртвое море заката... Ветер неведомых знойных стран...»

Обрывки мыслей всплывали и тотчас же таяли в голове красивой молодой женщины, одиноко застывшей у могилы мужа в печальной скорби.

С мраморного надгробного портрета на неё смотрел светлоглазый молодой блондин с кудрями королевича и жёстким выражением губ погонщика мустангов. Печать самоубийцы угадывалась на его лице, но Лариса никогда не видела этой печати, а потому считала убийцей мужа себя. Она раскаивалась в содеянном и проклинала себя за всё. Теперь она смотрела на себя словно со стороны, и прошлогодняя весна больше не казалась ей самой счастливой весной на свете. Глупая юность, глупые забавы, глупые интрижки её теперь казались жестокими и вздорными.

Да, она никогда не боялась жестоких игр, роковых страстей и любовных треугольников. С удовольствием мазохистки играла она обольстительницу и в эти зловещие «Бермуды». Так было на подмостках в театре, так было в жизни.

В ту весну Лариса не уставала проверять свои чары. Как бы ни была очаровательна и умна соперница, но рано или поздно, в конце концов, любой мужчина начинал принадлежать ей безраздельно. Чем уж она притягивала их? Какой имела грех с чёртом – неизвестно.

Если не случалась рядом соперница, Лариса находила друга, бесконечно проверяя своего жениха на прочность, не дорожа любовью, какую бы выгодную партию не сулил ей новый роман.

В такой любовной геометрии и отбил её у жениха Андрей, став любимым мужем.

Медовый месяц выдался дождливым и холодным. Дождь шёл ровно тридцать дней, побуждая влюблённых без памяти молодожёнов к бесконечным любовным утехам и затворничеству. Изнунив себя до прозрачной худобы, а потом и до полного истощения, в тихом упадке сил, посмеиваясь, они немного перевели дух и наконец-то отправились к друзьям на вечеринку.

Вот тут-то и обнаружилось, что и в замужестве Лариса не мыслит своей жизни без любимого хобби.

Несмотря на уголённую страсть и изнурение, она сразу же нацелила свои немного запавшие, но лихорадочно горящие тёмные взоры на старого друга семьи Мишу Зейфа.

Однако Андрей не повёл и бровью, следя за игрой любимой жены. Актриса она и есть актриса... Везде.

Будучи психологом по натуре и режиссёром по призванию, он не собирался следовать сценарию актрисы.

«Сценарий в таких пошленьких интрижках будет моим и только моим! – размышляя, дал себе зарок Андрей... – Дальше флирта у неё дело не зайдёт, но игра может затянуться навечно. Дай ей волю, и вся твоя жизнь превратится в сплошную драму или фарс».

Нет, щекотать себе нервы Андрей не собирался, а потому, хладнокровно похохатывая, не дал своему воображению разгореться даже на минуту. Она хотела летающих тарелок и кастрюль по дому, истеричных выкриков и пощёчин и твёрдо знала; чтобы быть вечно любимой и желанной для темпераментного мужчины, женщина должна быть... стервой.

Но Лариса переоценила темперамент своего мужа. Андрей оставался холоден и нем, как рыба. И по гороскопу он был рыба. И, кажется, в любви его рыба кровь давала о себе знать всё больше. Благопристойный во всём педант, сдержанный стоик, мягкотелый интеллигентик. Это было невыносимо пресно.

Лариса почувствовала себя бесконечно старой и завядшей уже через полтора месяца брака. Злая от скуки и подчёркнутых любезностей мужа, она хлопнула дверь и ушла капризничать к маме, ожидая, что уже к вечеру Андрей со слезами на щеках, бледный и взволнованный прибежит за ней и

упадёт на колени. Она даже прорепетировала сцену примирения и взаимного прощения, не забыла и про свой лучший халатик, который должна была надеть, когда он объядется. И... увы, снова недооценила темперамент и характер возлюбленного.

Андрей даже не позвонил. Он потомился неделю и тоже... ушёл из дома. И к кому? К лучшей подруге Ларисы Рите Серовой, которую Лариса, конечно же, во грош не ставила как потенциальную соперницу. Низкорослая, с короткой шеей, щекастая и вульгарная, Рита напоминала медведицу...

Снова стояли туманы, шли затяжные дожди, лишив цветущую сирень запаха, а город – тополиного пуха, который внушает весне особую прелесть. В воздухе витала хандра. Хотелось бродить по этому млечному озеру пара, глядеть на опадающий голубой пепел сирени вдвоём с Андреем, тесно прижавшись друг к другу, и думать о резиновых сапожках, которые они купят, когда родится сын. Слушать поющих скворцов и мечтать о новом спектакле Андрея, который он поставит исключительно во славу своей талантливой и великолепной жены.

– Как жизнь, предатель? – не выдержав, первая позвонила Лариса мужу. – Кто кого кормит, богема?

– Я... шубу ей купил!.. – невозмутимо парировал Андрей, что означало – дела его пошли в гору.

И хотя в голосе его слышалась тоска, положил трубку. Перезвонил... и снова положил трубку.

Теперь уже было неясно, игра ли это. Запашок опасности завис и тяжело стоял в воздухе. Всё, что казалось вчера смешным, перетекло за грань абсурда. Гротеск превратился в реальность. Балом их любви правил сатана.

...Вскоре на афишах города появилось имя Риты как ведущей актрисы театра, тогда как имя Ларисы исчезло отовсюду напрочь.

Лариса снова, сатанея, схватилась за телефон.

– Почему ты вычеркнул меня из сценария и поставил эту бездарь? Она же не актриса!!!

– Я влюбляюсь в неё, – вяло, но искренне предупредил Андрей, ожидая одного: вот сейчас любимая скажет, что пора заканчивать валять дурака, попросит прощения и позовёт его домой...

Он долго молчал в трубку, тихо наигрывая одной рукой что-то печальное на пианино, и едва слышно шептал ей нежности.

Не помня себя от бешенства, Лариса, ещё несколько минут назад мечтавшая признаться мужу в любви, разразилась проклятьями. И лишь тогда, когда он бросил трубку, вдруг вспомнила, что за мелодию он наигрывал...

Это был реквием.

Больше они друг другу не звонили. Однажды лишь Андрей подослал к ней своего лучшего друга Мишу Коршунова с признанием, что... погибает!..

– Живётся ему отвратно и мерзопакостно. Отвратнее не бывает, – изрядно выпив и закусив, разоткровенничался Коршунов. – Не проходит и дня, чтобы они не пили. Квартира Риты – свалка, притон, место сделок и оргий...

– Выходит, на почве пьянства сбежались? – горько усмехнётся Лариса.

– Бери выше, там всё куда сложнее! – кисло возразит Коршунов. – Она... ведьма! Зашёл на ночку, а оказалось – навсегда. Теперь их только могила разлучит. Читай отворотную и иди за ним, может, ещё спасёшь...

– Ты хочешь, чтобы я бросилась ему в ноги? – зло прищурилась Лариса, со стуком отставляя стакан.

– Этого мало. Тебе понадобится вся твоя женская хитрость и сила.

– Не-ет! – с болью выкрикнула Лариса. – Да он жить без меня не может!

И всё началось снова. Нашла коса на камень, плетё снова пыталась перешибить обух.

«Ничего, капля камень точит», – угрюмо думал Андрей. Вконец обезумев и заставив Ларису грызть яблоко ревности, он готовил ей ещё один садомазохистский финт.

Более всего на свете она ненавидела, когда ей подсовывали яблоко зависти. Слишком утончённая, она впадала в бешенство от этих дешёвеньких подловато-мальчишеских манёвров, от этих пошло-наивных мелких иезуитств. Он подсовывал ей яблоко зависти в надежде заставить её грызть это яблоко, как маленькую провинившуюся девочку. Он жонглировал этим яблоком перед носом Ларисы, сделав из бездарной Риты актрису с оглушительно громким именем. Вместо великолепной, гениальной Ларисы теперь всюду блистало имя Риты. Наивная тактика. Смешная стратегия.

– Я не хочу, не хочу предавать свой театр и предаю его с Ритой, как не хочу предавать свою любовь и предаю, предаю, предаю её! – с пьяным отчаянием хрипел Андрей другу в лицо, плача, с хрустом и кровью давя в руке тонкое стекло фужера. – Что молчишь, рыжая бестия?!

– Ты хочешь исправить её, старик? – имея в виду Ларису, вздохнул друг. – Глупо! Люди неисправимы. Сломаешь! И... сломаешься сам. Никогда никого не надо перedelывать. Читай Карнеги.

– Заткнись! – не слушая, скрипнул зубами Андрей.

Ему потребовалось два сезона неимоверных усилий, чтобы с помпой прославить серенькую Риту и погубить навсегда Ларису, вернее, её любовь и талант.

На огромных афишах столицы блистали не менее огромные с лакировкой портреты сытоглазой, бесконечно чужой ему женщины, которую он давно уже ненавидел и презирал всеми фибрами души. И чем больше блистало имя Риты, тем тусклее, бесцветнее становился голос любимой.

Нет, Лариса не приползла к нему раненой пантерой, чтобы перегрызть сопернице горло. Не стала умолять о прощении и валяться у него в ногах, как рисовалось в мечтах. Она просто ушла со сцены.

Возобновив звонки, Андрей молча и хладнокровно наигрывал свой рекем, приходя в мрачный экстаз при мысли от своих метких попаданий в цель. Каждый удар по сердцу Ларисы доставлял ему острое садистское удовольствие, а сознание её полного краха, безвестия и окончательной отставки в театре грело душу и порождало азарт и вдохновение. Впрочем, грело ли? Душа отмораживалась, а сердце, заледенев, наполнялось жестокой гордыней и безумием.

Он всецело теперь уже служил не ангелу любви, а демону зла.

Лариса не скоро очнётся от его жестоких ударов. Она бы и не очнулась, если бы однажды, слушая очередной рекем, который наигрывал ей каждый вечер Андрей, не уронила телефон. Разбитый вдребезги аппарат, надолго замолчав, дал ей время опомниться.

– Господи! Что я делаю! Я ведь умираю! – вскричит Лариса и поднимется с постели. И... заведёт роман с первым встречным. А именно, с молодым доктором по вызову, Юрой.

Осенью ей позвонит Рита и предъявит права на наследство. Она даже забудет сказать, что Андрей умер.

...И когда маки покроют страну могил, а горячее мёртвое море заката овеет ветер неведомых стран, Лариса, одиноко застывшая у могилы мужа,

вдруг вспомнит, как, впервые увидев Андрея, потрясённо подумала: «Неужели люди с такими гордыми неземными глазами когда-нибудь тоже... умирают?..»

### Золото и железо

Всего лишь два раза довелось мне встретиться с этим весёлым колоритным человеком, красивым, как Меджнун. Было у него всё: и своя Лейла, и талант поэта, и слава, и всемирное признание.

Первая встреча наша случилась в его богатом доме за обильным дастарханом в присутствии двух миловидных женщин: его жены и её племянницы. Был он молод, при кресле, широк душой и размахом. Талант. Бабник. Любил потрясать мощной и хвастаться достатком. На что и клюнула юная племянница жены, едва тётя уехала в командировку. Отчаянная, наглая, с зелёными глазами тролля. Всё подстроила так, чтобы тётя застала их в своей собственной постели. Скандал разразился такой, что вылетели оба в чём мать родила. Лейла, видать, только прикидывалась тихоней и недотёпой. А как прижучило, исполосовала когтями лицо мужа и начала его жестоко шантажировать. Мол, проваливай к черту, поэтишка вшивый, или я пишу заявление в суд о растлении тобой несовершеннолетней племянницы. Ещё и побой сниму! Сама изобью её, сучку, а скажем, что это ты её... Кто тебе поверит, любовный шнурок? Я ведь тебе рогов не ставила. На всём готовом жил у меня, как кот в масле катался! А ещё лучше, скажу, что ты вообще охотник за несовершеннолетними, помнишь, девочка маленькая к тебе приходила, даунёнок? Что ты с ней делал? Играл? Правильно. Игрушки покупал, жалел её, бедняжку. Да только никто тебе не поверит, если я скажу, что ты совращал малолетку. Так что, гони мне десять тысяч за моральный ущерб и вали, вали подальше, вали, пока тюрьма по тебе не заплакала, беги без оглядки, звезда потухшая.

Ушёл Али без суда и прощения, а главное, без копейки денег. Все деньги благоверная шантажом выманила, душу всю вытрясла. Ушел с подмоченной репутацией, всё лицо в шрамах. А Лейле мало. Через месяц звонит, прославленному поэту предлагает жениться на её племяннице, которая забрюхатела. И снова деньги требует за молчание. Теперь уже не десять, а двадцать тысяч.

Продал Али машину, заплатил шантажистке, и пока у неё новые фантазии не разыгрались – исчез. Канул в неизвестности. Поговаривали, что пропал джигит ни за грош, запил, валялся под заборами в Астане, бомжевал, болел и, если не убили, то, наверное, помер...

Ан нет. Как-то, по прошествии многих лет, подходит ко мне в Алма-Ате на базаре скуластый, подозрительно несвежий тип и протягивает мне худую тёмную руку для приветствия.

– Хасенов я! Али! Помнишь? Ну! Караганда, жена моя Лейла... Э... да ты что-о-о?! Помнишь мою поэму, «Карлыгаш»?!

Стою столб столбом, никак в толк не могу взять; разве может так измениться человек всего за десять лет? Лицо точно топором стесали. Вернее, гонор... ни блеска того в глазах, ни напыщенности дутой, как это часто бывает даже у бывших боссов. Простой, как табуретка, будто только вчера на брудершафт пили. А ведь раньше на вшивой козе не подъехать было. Не верится даже. Рот до ушей, хоть завязочки пришей.

– Что же это у тебя, – говорю, – зубы-то сверху золотые, а внизу железные? Пишешь? Нет, не пишешь. Опросте-ел... А ведь...

Понимаю, что не то что-то ляпаю. Неделikatно как-то. Плоско. И продолжать развивать эту тему. А ему до фонаря всё. Смеётся.

– Жизнь, – говорит, – у меня такая. То золотая, то железная. Да, шмякнула меня жизнь. Так и живём.

И тут вспомнилось мне, как звали племянницу.

– С Айсулу, – спрашиваю, – живете? Ты ведь ей поэму посвятил!

– Какой там? Что мне с ней было делать, двумя голыми задами при луне греться? – загоготал он. – Нет, мир не без добрых людей. Пить бросил. Подобрала меня тут одна каракатын. Ключнул на однокомнатную в центре, женился, а у неё четверо детей. Так и пошла моя железная жизнь. Ничего – только крепче стал.

– Что ж, Бог в помощь! Не жалеешь о той, о золотой? – попыталась я вызвать его на откровенность.

– А чего врать? Главное, пока ещё есть чем есть, и есть что есть.

И Али счастливо заулыбался во всю ширину своего золотого и железного рта.

### Змеица

Наконец-то, наконец-то я нашла именно ту работу, о которой так долго мечтала. Правда, меня приняли по протекции весьма значительного лица, на слишком престижное место, если учесть мою молодость. Таким образом, я сразу стала одиозной фигурой, с заспанным прозвищем «Блатная».

– Что тебе стоит напустить на них хотя бы половину своих чар! – усмехнулся главврач, едва я заикнулась о своих первых неприятностях. – Батюшки, да если бы ты не умела так нравиться и мужчинам, и женщинам, то вряд ли находилась сейчас здесь, в нашей клинике, да ещё накоротке с шефом. Ну! Выше голову! И даю тебе десять дней срока. И... улыбку, улыбку! – он в упор, посмеиваясь, ласково смотрел на меня, в глазах его горели загадочные искры.

Окрылённая, я вдруг обнаружила, что за окнами давно весна, сирень и голубое небо, и понеслась по клинике, расточая вокруг флюиды радости и жизнелюбия. Жизнь, прекрасная жизнь только начиналась, и все люди вокруг казались мне просто ангелами.

Не скажу, чтобы это произошло слишком быстро, но уже через каких-нибудь три недели меня любили почти все сотрудники и коллеги, и даже вахтёры и уборщицы. Многие успели привязаться ко мне и всё чаще заглядывали в кабинет, чтобы перекинуться парой анекдотов в обеденный перерыв. Все было о'кей. И только одна-единственная сотрудница по имени Лейла поразила меня тем, что оставалась не только неприступной, как скала, но и никогда не отвечала на мои приветствия. Это было дико в первые месяцы нашей совместной работы. Это было безумно дико, когда по прошествии двух лет она не изменила своего поведения ни на йоту, если не стала ещё холоднее и неприступнее, чем раньше.

Можете себе представить мои чувства, когда всякий раз встречаясь и здороваясь в коридоре с Лейлой, я не только не получала какого бы то ни было ответа на своё приветствие, но и видела её лицо, исполненное глубочайшего презрения и ледяной отстранённости. Это сводило меня с ума. Более того, это выбивало меня из рабочей колеи на целый день. Не в силах понять, почему меня так ненавидят, я испытывала почти физическую боль и терзания. Почему? За что? – думала я, и радость жизни покидала мою слабую грудь, так как я привыкла почему-то считать, что весь мир и все без исключения всю жизнь должны любить меня – старики, дети, мужчины, женщины и даже собаки и кошки.

Однажды, зайдя в соседний кабинет, я обнаружила, что там никого нет, кроме Лейлы. По долгу службы мне ничего не оставалось, как обратиться к

ней с вопросом по делу. И хотя это было очень трудно, я обратилась к ней, поскольку работа не терпела отлагательств. Каково же было моё изумление, когда я не услышала в ответ ни слова. Я терпеливо повторила свой вопрос, уравновесила учатившееся дыхание и подождала с минуту...

Лейлу словно замкнуло. Она вела себя так, точно рядом с ней было пустое место.

Боже мой, каким же тупым мне казалось в тот миг её лицо. Она имела нелепые уши лопушками, оттопыренную нижнюю губу и модные очки в тонкой дымчатой оправе, которые, впрочем, не красили её. Самым противным во всём этом была загадка, которая не переставала мучить меня. За что, за что эта несчастная так возненавидела меня? Я чувствовала, что долго так не выдержу, и однажды снова попыталась примириться с ней, чего бы мне это ни стоило. Как-то, зайдя в туалетную комнату, я ласково попросила её одолжить мне мыло, жалуясь на свои нечаянно испорченные чернилами руки. Руки мои и впрямь являли собой жалкое зрелище. Казалось, только каменная статуя могла равнодушно взирать на моё несчастье.

Однако Лейла оказалась куда невозмутимее каменной статуи. Не говоря ни да ни нет, медленно продолжая намыливать свои руки, она хладнокровно протянула мыло подошедшей только что коллеге и, не взглянув в мою сторону, гордо удалилась прочь.

– Какая змеица, а?! – сказал кто-то за моей спиной, наблюдавший всю эту сцену, и, хотя мне сразу было протянуто два куска мыла с двух сторон, я стояла, готовая провалиться сквозь землю от стыда и ярости. Я просто не могла прийти в себя от бешенства. Я поняла, что свихнусь, если не вычеркну Лейлу из своей жизни, и перестала приветствовать её по утрам, отчего мне сразу полегчало.

Боюсь, что загадка Лейлы так и осталась бы для меня загадкой, если бы не случайно подслушанный разговор коллег-мужчин о нашем заведующем отделением Романе Михайловиче. Лобастый, синеглазый и стройный, всегда элегантный и по-рыцарски корректный, он, конечно, был неотразим.

И вдруг, что я слышу!!! Оказывается, до того дня, как меня приняли к нему в отделение, он и Лейла были любовниками... И что все их ночные дежурства ещё недавно строго совпадали. Это длилось уже не один год. И вот пришла я, и всё сразу как отрезало! Ночные дежурства шефа больше не совпадали с дежурствами Лейлы. Зато теперь они странным образом почти всегда совпадали с моими дежурствами. Ситуация могла показаться щекотливой и подозрительной кому угодно. Однако Роман Михайлович даже не смотрел в мою сторону. Вообще у них с Лейлой было какое-то странное сходство. Оба они избегали смотреть мне в глаза, отчего мне было не по себе. Однако мало-помалу подчёркнутая сдержанность и интеллигентная учтивость моего шефа начисто отмели все дурные предположения.

И вдруг, что я вижу! Как-то на «пятиминутке» мой шеф, мой величественный, гордый, благопристойный Роман Михайлович в каком-то диком затмении, забывшись, пишет моё имя и фамилию в своём нервно исчерканном блокноте. Причём не раз и не два, а чисто механически – множество раз. И это было бы ещё ничего, если бы он писал и писал себе моё имя и фамилию, как и значилось везде в моих документах. Но нет же! Он писал это, как если бы я носила когда-нибудь фамилию мужа. Правда, отлично зная, кто я, мне иногда припечатывали фамилию мужа, что меня очень бесило, поскольку мой благоверный и был тем высокопоставленным лицом, по милости которого я ходила в «блатных».

В конце концов, я была хотя и замужней, но вполне самостоятельной, уверенной в себе дамой, и фамилию мужа никогда не считала своей. О чём и высказала шефу без свидетелей. На что получила обезоруживающе кроткое молчание, достойное шестикрылого Серафима. Тогда, всё ещё бесясь, я обозвала его Иисусиком, и снова получила в ответ тупое молчание, так похожее на молчаливый идиотизм Лейлы. Я ядовито спросила его, что всё это значит, и он снова промолчал. Он молчал и тогда, когда я выговорила ему все свои недовольства по поводу его поведения и странностей по отношению ко мне. Он молчал и тогда, когда я сказала, что уйду с работы, если он будет преследовать меня своим молчанием.

– В конце концов никаких поводов я, собственно, не подаю! – с болью выкрикнула я, точно в пустое корыто, так и не получив ни звука в ответ. На том и успокоилась.

Озадаченная, я могла думать о Романа Михайловиче всё что угодно, но тайна оставалась тайной, и его непроницаемое лицо было ещё более непроницаемым, чем лицо Лейлы. Она же по-прежнему не отвечала на мои попытки войти в контакт, когда этого требовала работа, и тихо портила мне кровь. Я боялась смотреть на неё. Я даже не знала, какого цвета у неё глаза. Было ощущение, что их у неё просто нет, как нет души и сердца. Поэтому, столкнувшись с ней однажды в дверях и нечаянно встретившись взглядами в упор, я была потрясена. Глаза у неё были необыкновенные. До того необыкновенные, что я вздрогнула и сердце моё забилося. В них пылал ад! Оттуда, из черной бездны, притаившись, на меня смотрела змея, готовая на всё, подвернись только удобный случай.

Опасаясь худшего, я потихонечку присматривала себе другую работу.

Но я опоздала, ибо в один прекрасный день меня прямо на работе скрутил банальный недуг. Предчувствия меня не обманули. Как бы это ни было страшно, я очутилась на операционном столе в руках Романа Михайловича. Шеф сам решил оперировать меня. Анестезиологом же (о ужас!) была, конечно, Лейла.

«Убьёт!» – подумала я, с содроганием глядя в её безумные змеиные зрачки.

Уставясь в белый потолок мимо «юпитеров», я начала читать «Отче наш». Последнее, что я услышала перед началом операции, это голос Романа Михайловича:

– Лейла, прошу тебя, не подведи, – голос его дрогнул, в нём была нешуточная тревога.

– Разве что ради нас с вами, Роман Михайлович... – ледяным тоном процедила сквозь зубы Лейла, и глаза её выразительно сузились.

Когда я очнулась после операции, то увидела перед собой бледного Романа Михайловича. Он не отходил от меня всю ночь и выглядел просто старой развалиной. Увидев, что я наконец-то открыла глаза, он просиял. Привычным движением взяв мою руку, он принялся считать пульс и вдруг опечаленно нахмурился. Белоснежный от халата до кончиков седых волос, он был похож на небожителя.

– Во время операции у тебя... у тебя неожиданно остановилось сердце! – устало сообщил вдруг он. – Это было невероятно. Я сам лично контролировал действия анестезиолога. Почему?! Почему, черт возьми, а?!!

У меня, только что воскресшей и рождённой заново, не было ни сил, ни желания отвечать ему. Но я уже тогда могла бы сказать, почему оно остановилось. Оно остановилось, потому что... Моё бедное сердце остановилось

скорее всего от страха. Ещё до поединка на операционном столе было ясно, что, убив меня, Лейла отомстила бы таким образом неверному возлюбленному, а пощадив, доказала бы ему свою отчаянную любовь и прощение. Однако судьбе было угодно повернуть всё иначе. Пятно страшного подозрения навсегда легло на несчастную Лейлу, и Роман Михайлович окончательно отвернулся от неё.

Но с тех пор прошло много лет, и говорят, что несмотря ни на что, всякий раз в день рождения Романа Михайловича, в самые что ни на есть крещенские морозы, на его столе неизменно появляется одиннадцать розовых роз. «Розы Лейль».

И если вы когда-нибудь, разоткровенничавшись с кем-нибудь из хирургического отделения, спросите, что такое «Розы Лейль», то вам наверняка выложат уйму сплетен о безумной любви этой незаурядной женщины, среди которых будет и моя история.

Что касается меня, то я вскоре после того случая нашла другую работу. Уходя, я не выдержала загрустившего вдруг взгляда Романа Михайловича и, бросившись в распростёртые на прощание объятия своего спасителя, впервые смогла почувствовать всю силу его чувства, что, впрочем, было тотчас сокрыто под маской его бесподобной сдержанности.

### Нелюбимая

Гитара плакала, вздыхала, жаловалась и очаровывала вечерний берег. Стеклянная луна-аквариум, с млечным крабом внутри, поднималась всё выше и выше.

Юные русалки вынырнули из воды и, не давая разглядеть свои загорелые тела, сразу же запахнулись в махровые одежды.

И всё же песня сделала своё дело. Заворожённые музыкой и смиренной кротостью парней, они приблизились к ним и стали слушать. У той, что повыше и постройнее, на глаза навернулись слёзы. Она была прекрасна.

Парни, не замечая другую, ту, что поменьше и покруглее, оба смотрели на красавицу. Это была любовь с первого взгляда.

Увы, увы, не мужчины выбирают женщин. Красивой и стройной понравился Толян, тот, который так мастерски выводил соло на семиструнной. Темненькая смотрела на белокурого Андрея.

Так они и подружились. Маленькая Наташа и белокурый Андрей, и красавица Татьяна и рыжий, конопатый Толян, гитарист, талант.

Закружило молодых людей жаркое курортное лето. Денежный запас парней иссяк быстро. Зато девчонки оказались богатыми. Поняв, что их дружки на мели, они начали тратиться сами. Оказалось, что все четверо земляки, да ещё из одного города. Показалось, будто знакомы они тысячу лет. Андрей вскоре перестал смотреть в сторону красивой Татьяны, а Толян перестал оказывать знаки внимания маленькой Наташе. Да, увы, выбирают не мужчины.

Андрей привык к Наташе, и по возвращении с курорта даже не заметил, под каким предлогом привёл девушку в дом. Познакомил с суровой своей матерью. Маленькая опрятная девчушка до такой степени приглянулась старой женщине, что та немедленно приложила все усилия, чтобы Наташа осталась у них. Ещё бы: маленькая-то маленькая, а полы в доме перемыла в первый же день своего прихода. Испекла пирог, сама наливала чай. Мать от неё была без ума. Расчувствовалась, подарила девушке свой заветный кулон и ещё какую-то безделушку. А потом вывела сына на террасу и долго под

шорох начинающегося дождя и шум абрикосовых пыльных деревьев горячо шептала, чтобы сын не терял своего счастья, не проворонил, не проморгал.

Наташка осталась у них навсегда. По крайней мере, так казалось поладившим с первого вечера женщинам. А тут ещё Толян подлил масла в огонь: «Классная бикса – Наташка! Я бы женился на ней, если тут типа “тово” нос кто-то воротит».

Андрей же с обречённостью несостоявшегося донжуана думал о том, что не о такой, замирая, мечтал он голубыми ночами августа. Не о такой пели, облитые звёздами, яблони сада, не о такой, не о такой плакала в его сердце скрипка и многопыльная гудящая ночь переулка.

А ровно через пять месяцев оказалось, что Наташка забеременела.

Тут-то вся холостяцкая суть Андрея взбунтовалась не на шутку. Холодея, как айсберг, изрядно выпивший водки, он вызвал в памяти прекрасный образ Татьяны, и сдержанно и туманно, чувствуя себя подлецом и очень несчастным человеком, намекнул, что-де это нежелательный ребёнок, и что надо бы прервать беременность, и что вообще он не готов к браку, к отцовству, к...

Мать, напряжись и побледнев от нечаянно подслушанного разговора непутёвого сына, пришла в ярость.

– Аборт на четвёртом месяце?! Да я тебя в бараний рог согну, пьянь подзаборная! Да я... скорее, тебя первого абортирую из дома... Ишь што удумал, чучело!

Слабовольный Андрей, поверженный на лопатки, не успел пикнуть, как оказался в ЗАГСе.

Всё ещё надеясь в последний момент повздорить с невестой, мелко схамить, увильнуть от брака, Андрей обречённо приближался к финалу.

Лихорадочно обдумывая план отступления, он обнаружил, что Наташа по документам вовсе не Наташа, а Нагима, и фамилия у неё самая что ни на есть дикая, неблагозвучная, чужая: Жаппасова.

Наташа-Нагима оказалась киргизкой. Он представил вдруг рой её скуластых родственников, чужую речь в доме, непонятные обычаи и поступки, которые должен будет чтить и приветствовать, всю эту монголоподобную незнакомую рать, и онемел. Как же это он не разглядел в смазливой девчонке нерусскую азиатку? Его мелкий план повздорить с нелюбимой вдруг показался глобальным и неотвратимым. Теряя время, он снова стал обдумывать свои действия. Однако в голову ничего не приходило, кроме смущения и стыда. К своему несчастью, он не был человеком с предрассудками. Ни грамма национализма, и тем более – расизма. Скорее наоборот – внутренний протест и чувство гадливости к себе, такому мелкому, продуманному и стервозному. Ему даже стало интересно. Он и какая-то Нагима! План к отступлению был отрезан.

Они уже подходили к столу регистрации, когда вдруг стало ясно, что он не сможет вот так, прямо сейчас же заявить, что невеста, оказывается, чужого роду-племени, а посему, господа хорошие, честь имею, регистрация брака, увы, невозможна! Это казалось таким смешным и нелепым аргументом, что благородство и презрение к предрассудкам взяли, конечно же, верх. Так в паспорте Андрея засиял брачный штамп, вопреки его воле и голубым грёзам юности. Чего не сделаешь ради мамы? Нагима Жаппасова – красовалась в графе со словом жена.

В тот же день его друг Толян, сияя конопушками, женился на красавице Татьяне. Вот где было всё по обоюдной любви и согласию, чему с болью завидовал Андрей. Так ему казалось. Забыл, что друг любил брюнеток.

Свадьбы играли вместе. Андрей с тоской бросал взгляды на умопомрачительную, яркую невесту друга. А Толян поглядывал на черноглазую маленькую Наташу. Увы, увy, не мужчины выбирают себе суженых.

– Слушай, ещё не поздно всё переиграть, – то ли с издёвкой, то ли всерьёз задрался вдруг Толян, видя тоску друга и его отчаянные взгляды в сторону сияющей счастьем и совершенством Татьяны.

– Да пошёл ты! – чувствуя укор и настороженный холодок, отмахнулся Андрей.

– Нет, правда, какая свадьба без драки? – снова закипятился Толян. – Хочешь, я тебе вмажу, чтобы не пялился на чужих баб?

– Давай вмажь! – равнодушно вздохнул Андрей. – Может, легче станет...

Ах, как пели в ту ночь соловьи! Как цедила луна молоко. Как дул вечный ветер.

Слава богу, подоспевшая Татьяна, ласково обняв суженого, нежно воркуя, увела его прочь. Неизвестно, слышала ли она их разговор. Может, слышала. Да только такие, как она, умеют хранить страшные тайны.

Никогда, никогда Наташе-Нагиме не суждено будет узнать, что начиналась её любовь с нуля. Безответно, случайно, стихийно и по воле рока.

Зато дочка родилась у них такая, словно херувимчик спустился с небес. Что это было за глаза! Что за черты! Пух волос золотистых! Нет, это надо было лицезреть. Видать, под счастливой звездой родилась Наташка-Нагима. Светла нелепость их – повенчало счастье.

Едва исполнился дочке годик, как Андрея словно подменили. Благословил он и дочку, и Наташу-Нагиму свою, и судьбу нечаянную. Увидел вдруг всё: и золотой Наташкин характер, и кулинарные её таланты, и кротость, и красоту. Расцвела Наташка после родов красотой невиданной, просветлела и душой, и нежностью своей к супругу. Всю себя без остатка отдала семье.

Построил Андрей дом из красного кирпича с евродизайном и невиданной планировкой. Утопил усадьбу в сирени, персиках и абрикосах. Развёл цветник и виноградник. Превратил свою жизнь в Эдем, в приют блаженства, радости и детского смеха.

Как-то позвонил ему Толян, голос тусклый, точно из могилы.

– Слушай, помоги мне мою Таньку замочить. Ненавижу! Или забирай её на хрен себе. Ты же её любил? Запарила она меня. Заколупала мозги. Говорит, ты у нас крутой теперь? А я для неё глот, глумарь! Забирай! – он бросил трубку. Андрей так и застыл на месте.

Дела его действительно шли в гору. Фирма, где он был теперь генеральным директором, процветала.

Странная мысль-червячок заползла в его сердце. Интересно, взглянула бы Татьяна теперь на него, когда он при кресле, «мерсе», в прикиде заморском и всё такое прочее? Наверное, взглянула бы. А он? При этой мысли сладко защемило сердце. Захотелось увидеть друга и былую возлюбленную так, что он немедленно купил цветы и шампанское и, как шмель залётный, заскочил к ним на огонёк.

Сразу бросилось в глаза, как сдал Толян, располнел, стал немногословным и сдержанным. В тесной комнатке стыдливо по углам жалась нищета. Не оттого ли друг принял его так холодно и безрадостно? Татьяна и вовсе едва поздоровалась. Худосочная, тёмная, как пасмурный день, едва скрывая раздражение, она прикрикнула на мужа, едва тот засуетился, желая приготовить кофе для друга. И Толян вдруг с такой ненавистью, так гневно и брезгливо, так непередаваемо горько взглянул на жену, как только может

смотреть мужчина на нелюбимую! И красавицей она больше не казалась. Да и была ли?

А как увидел Андрей их огромного, бездвижного ребёнка в кроватке, так всё и понял. Сырой, сладковатый запах аммиака витал в комнатёнке, полной беспорядка и хаоса. Видно было, как дико душно и страшно в доме друга чавкает трясина ужаса и скорби, как безумно-прочно живёт горе.

Холодея, Андрей прикинул возраст ребёнка и насчитал лет пять этого удушяющего горя. Бездвижное, рыхлое, неестественно белое тело ребёнка выглядело слишком большим для его возраста.

Андрею вдруг захотелось бежать из дома былой своей возлюбленной куда подальше. Былой ли? Он вдруг представил, как и Толяну хочется вот так же бежать прочь из этого жуткого вертепа, представил, каково ей!!! Ей, такой ласковой и нежной когда-то. А теперь тающей, словно тонкая восковая свеча, дышащей на ладан... Каково ей? И это тогда, когда одним движением он мог бы прекратить разом весь этот ужас... Какие-то жалкие пятьсот тысяч – и ребёнок в клинике, возлюбленная в новенькой квартирке с окнами в сквер, а на новом столе из орехового дерева путёвка в санаторий на поправку... Андрей зажмурил глаза. Спёртый запах комнатухи стоял комком в горле. Боль-мечта, старая, древняя боль-мечта обострилась. Он с усилием улыбнулся. Виновато и участливо присел на краешек стула. И, избегая смотреть в глаза несужденной своей, вспомнил море, безлюдный пляж, печаль и музыку...

– Всё будет хорошо! – взяв Татьяну за руку, сказал Андрей. – Потерпи. Я приеду через месяц.

Татьяна гневно взглянула ему в глаза и нервно отпрянула. Но ничего не сказала. Молчание – знак согласия? Андрей это понял именно как согласие. Он лучезарно улыбнулся и зашагал прочь, стараясь не глядеть на больного ребёнка и в глаза Толяну.

Вечером он снова услышит голос друга. Голос Толяна показался ему зловещим.

– Скорее подгребай к нам! Ты ведь любишь её? Она тебя ждёт в лучшем своём виде!..

Андрей ринулся к машине. Нервно сжал руль. Ехать пришлось час. Мешали пробки.

Когда он подъехал к дому друзей, то было уже поздно. Дом вместе с его страшной тайной свечкой догорал в мареве осенней ночи.

*Продолжение в № 2, 2025*